

## Евгений Замятин. Ела

OCR Кудрявцев Г.Г.

Двухнедельные тучи вдруг распоролы как ножом, и из прорехи аршинами, саженьями полезло синее. К полночи солнце уже было над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось все больше, они скликались всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, побежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной площадке над собою он увидел десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской елы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки – прочный, смоленый, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:

– Теперь мы ожидаем, что уж придет. После строма оно должно приходить.

У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот – лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней – но не успел. Он увидел то самое, чего все искали: недалеко от берега легкие водяные вихры прокалывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые – и еще, и еще – вся вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал:

– Играет...

Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.

Через минуту все становище взворосилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на ошолтело шнырявших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбаса. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе играла селедка, киты загнали ее сюда из океана, люди и чайки торопились хватить ее – она могла уйти в океан так же быстро, как пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений остров, надо было догонять ее – догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил – как будто спокойно. Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни елы, он нанимался к другим, кто ходил промыслять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ела, трудно, медленно зрела, питаясь человеческим соком – и, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится.

– Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.

– Хоть дожить, поглядеть, – сказала она и стиснула, повернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток – из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту все могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-коровьи, дыша.

– Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, – сказал он.

– Сколько? – спросил Цыбин.

– По пятнадцать с пуд.

– Двугривенный – меньше не пойду. Клаус задышал еще громче, побавровел, потоптался и молча зашагал дальше – к Туюлинской избе. Цыбин не двинулся с места, только под скулами на лице у него проступили крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная: ставкой была цыбинская ела. Если Сашка Туюлин проспался после вчерашнего, так ясное дело – Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда – прощай, ела. Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось, в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца.

– А если Клаус не вернется? – сказала Анна. Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и елам. На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходит в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

– Хм... До зимы, пожалуй, дотянут... – сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне – и освирипел. Ну, чего стоишь? Чего палишься? – закричал на нее.

В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.

– Согласно. Идем... чорт! – сказал он сердито. У Цыбина внутри стало быстро, горячо. "Ела"... – екнуло сердце. Он встал.

– Ну, идем... – сделал шаг – и не вытерпел, заорал вовсю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял его.

– Ты что? С ума сошел? – еле продышал. Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот рукою по обшивке:

– Эх, Клаус, посудина у тебя! – и прибавил: – Ну, ничего...

А в этом "ничего" и было все. Наполовину игра была уже выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря – и тогда... Тогда – ела, тогда – новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое – как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними – вдруг спрятал селедку, нигде не видно было кипеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов.

Ленная ела старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бота. Короткий, раскорячивши корневища-ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

– Черти-и! Шлепалы-ы! Машинами своими всю селедку распугали! Назад, назад ворочай – она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь, вят галс – и паруса уже белые, под лопухими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлычет.

Но едва успели повернуть – как селедка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, шурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, окрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир – и люди и птицы стали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Елы и два моторных бота стали у переймы, в губу с сетями побежало два